

Александр ЛИВЕНЦОВ

*Александр Ливенцов родился в 1982 году в Москве. Окончил Университет связи и информатики, работал программистом, визуализатором в архитектурном бюро. Публиковался в журналах «Октябрь», «Новый Берег», «Юность» и др. В «Волге» печаталась проза и критика.*

## РАССКАЗЫ

### Чётные числа

Паша шёл через лес. Можно было вокруг, огибая бесконечную колоннаду сосен, но собирался дождь, а в лесу будет где укрыться – того гляди польёт, полчаса от силы, как раз пересечь лес и поляну, а там до Полины рукой подать. Осадок от их вчерашней встречи горчил до сих пор. Всегда безмятежный, настолько, что это бесило Полину и вынуждало переходить на мат, сегодня Паша не мог отделаться от минорного чувства. Ещё утром хотел идти к ней, попытаться, что же вчера стряслось, но время нашёл только к вечеру. Теперь он спешил, мусоля в уме слово «обречённость», – нечаянно она обронила его в конце встречи и сразу опустила глаза, точно хотела подобрать слово с пола, пока Паша не разглядел.

– Обречённость? – переспросил он. – О чём ты?

– О чём-то... забей, – отмахнулась Полина и промяла пальцами виски, точно подступала мигрень.

– А саму воротит, если я так отвечу.

Не ответила, лишь выдохнула в лицо Паше винным духом, и он отвернулся, сдержав себя, чтоб не сморщиться – отпил из бокала, глянул на этикетку бутылки: больше такое не брать. До последнего Полина отнекивалась, не признавала этой «обречённости», словно той и не было, но лицо её холодело, и на Пашу смотрела, как смотрят на дно колодца.

Стемнело; кроны даже днём пропускали света мало, как крыша старого вокзала, да вдобавок набежали тучи. Ветки сплетали вокруг бледных звёзд окна, прочерчивали створки рам, заслоняли небо тюлем листвы. Благо далеко впереди, где стелилось поле, белел просвет. Если Полина шла к Паше, всегда собирала ему полевых цветов, совсем другая девочка в ней просыпалась – возвращённая старыми фильмами, воспитанная бабушкой, а не мамой. Раза не было, чтоб явилась с пустыми руками.

Со спины подступала ночь. Паша обернулся и увидел огонёк в глубине леса, пучок лучей прожигал сонную листву. Он сильно отставал и двигался по соседней тропе – ещё один любитель вечерних прогулок, но с включённым фонарём в мобильнике. Вдалеке громыхнула гроза, словно залп одинокой пушки, а так хотелось опередить дождь.

Редкие цветы под ногами мелькали синими пятнами, всё сложнее было разглядеть их. Стараясь не думать о Полине, Паша представил, как много цветов в лесу, а на поле и того больше – число должно быть невероятное. Если бы в древние времена злой царь велел рабу сосчитать эти цветы, то раб ощутил бы именно обречённость. Гадкое слово.

Снова прокатился гром. В городе, должно быть, поливало. Небо там висело грязное, листва растворялась в нём, и деревья, словно перевернутые, вращались в небо корнями веток. Огонёк в белом ореоле подступил ближе. Пушистый, как одуванчик, он сиял, совсем не освещая лес вокруг, и двигался плавно и быстро – значит, велосипедист, у пешего фонарик трясётся. Когда свет нырнул за деревья, из мрака проступали их чёрные стволы, а выныривал – и Пашу слепило.

Полина тоже всегда просила зажечь фонарь телефона, не любила темень. Сколько раз Паша отговаривал её бояться ночи, особенно лесной, замшелой, но Полина жалась к

его плечу и проклинала, что опять уговорил идти в темноте. Она навещала Пашу лишь днём, и вчера было так же – всё, кроме неё самой. Пришла не она, а испуганная старуха в теле Полины. И букет, который принесла, если его можно назвать букетом, – зачем она это сделала?.. Какая-то злая глупость. Разговор их не ладился, и Паша поддержал его в немой форме, раз Полине так легче. Паста и цезарь красовались на столе – он постарался; свеча, салфеточки; с прошлой встречи осталось полбутылки вина, кислятина, но рука не поднялась выкинуть – разлил по бокалам.

«Что случилось?» – спросил он глазами.

«Нормально всё», – качнула в ответ головой.

«Точно?» – прищурился.

Кивнула.

Видела бы она своё лицо. Спрашивать в третий раз было лишним, и Паша глянул на маки – те смотрели на него своими глазами весь остаток вечера. Полина проследила его взгляд и уронила голову, так что кончики волос угодили в тарелку с салатом. Поели, вышли на балкон, и ей стало ещё хуже: вид леса заострил лицо Полины, кинул в глаза беспокойные блики. Когда же Паша закурил, как всегда после ужина, – она вырвала сигарету, разломала, обжёгшись, и швырнула с балкона. Он закашлялся, красный, распухший, как павиан, глянул на Полину – долго, с чередой восклицательных знаков. Курить расхотелось, ничего не хотелось. Она плакала.

До поляны осталось всего ничего. Ветер трепал макушки берёз, а после взялся за сосны – на краю леса снова проступила их колоннада. Забухтел гром, прокатился слева направо десяток километров. Паша огляделся – не видать ли молнии? – но только этот фонарь мерцал позади, совсем близко, и не было слышно шелеста листвы под колёсами. На опушке меж двух старых могучих сосен, обозначивших парадный вход в лес, Паша остановился перевести дух и дать велосипедисту проехать вперёд. Напуганные грозой, птицы раскричались. Поле застелил сонный бархат, ветер гулял по нему, мял траву невидимыми руками.

«Обречённость» – что Полине втемяшилось?.. И её букет – совсем не смешно.

Когда Паша отдышался и поднял глаза, чтобы разглядеть своего велосипедиста, между ним и шаровой молнией было метров десять. Неспешно, как из комнаты выходят в прихожую, белый шар размером с голову вылетел из чащи и окрасил лес слабым холодным светом. Смотреть на него было больно, Паша отвернулся и сморщился – резко подкатил писк, такой высокий, такой острый, что казалось проникает в кожу. Пищало сразу во всём теле, громче и громче, а как стало невыносимо – Паша кинулся в поле.

Далеко справа поперёк неба сверкнула корявая нить молнии, вторая ответила ей слева. Из травы вспорхнула стая птиц, и в тот же миг порыв ветра принёс со спины запах гари. Паша на бегу оглянулся и увидел, что шар летит за ним и рисует в траве выжженный след. Писк опять нарастал в ушах, в глазах, в горле, в костях черепа, и Паша не вынес – схватился руками за голову. Посреди поля, у кустов шиповника, он обернулся в последний раз, тут слепой жадный свет нагнал его и тронул под левое ребро. От вспышки осветилась и побелела земля, и шиповник, и вялая, брошенная кем-то под куст ромашка.

Минутой позже хлынул дождь, охладил тело, сбил дым, вьющийся бледной душой. Гром смолк, лишь шелестели капли, да местами сновали жилки разрядов. Не обращая на них внимания, шиповник, как мог, накрыл Пашу, пригладил веткой растрёпанные волосы.

\*\*\*

За день до того Полина смотрела с балкона на окраину района, на поле за ней, на лес за полем и не могла понять, отчего светит солнце, а на душе минорные гаммы. То мог быть воробей, залетевший утром на кухню и долго бивший в стекло, пока Полина не распахнуло окно настезь. Никогда не верила в приметы, как и мама; вот бабушка знала

сотни, на каждый чих: кофе сбежит, дымом повеет – всё у неё было прозрачно, всё было помечено нужным образом.

Такая маленькая форточка, и он умудрился в неё залететь... именно в неё, поганая птичка.

Час Полина разгребала рабочую почту, сдерживая себя, что б не материться в каждом втором письме. Покончив с ней, заварила кофе и до обеда блуждала в соцсетях, рассылая по мессенджеру редкие самородки смешного – назад прилетали смайлики и другие картинки, менее остроумные, Полина добросовестно отвечала на них улыбками, а тоска не уходила, сочилась по капле, растекалась лужей. Также Полина томилась год назад, когда сдала кровь на треть зарплаты и трое суток ждала результатов. Но сейчас-то чего?..

Написала Паше, хотела ближе к вечеру и не стерпела, – пусть утешит её, охладит, прямая его обязанность. Ответ прилетел, когда Полина уже оделась: её ждали, обещали пасту с цезарем, даже вино осталось – полбутылки, дешёвая кислятина, вечно он экономит. Оглядев себя в зеркале, Полина осталась довольна, прихватила бечёвку с ножиком, закрыла в комнатах форточки, ушла.

На поле она срезала самые большие и яркие цветы, обычно хватало дойти до леса, и букет был готов, остатки выискивала вдоль тропы. Сегодня же кто-то расщедрился – уже на половине поля, у кустов шиповника, цветов набралось столько, что не помещались в руку. Даже два пышных огненных мака встретились и несколько тюльпанов, а васильков, ромашек и прочего – без счёту. Любуясь букетом, похожим на яркий, пёстрый шар, Полина развеялась, опустила нос в цветы и сладко вдохнула. Два мака под шевелюрой васильков смотрели на неё парой глаз.

«Жалко, что два, – подумала она, – лучше бы три или хоть один, но не выкидывать же второй».

И тут Полине пришло на ум, что она никогда не пересчитывала цветов, которые дарила Паше. Ни разу.

Вышло сорок четыре.

Достав одну ромашку, менее нарядную, чем сёстры, Полина кинула её под куст шиповника и поспешила к лесу. В пути ей попался ещё один тюльпан, и худенькая гвоздика, и мелочь, какую грех упустить, – ножик исправно срезал стебли. Пройдя часть поля, Полина остановилась и сосчитала цветы – оказалось пятьдесят. Снова пришлось пожертвовать одним и снова, войдя в лесную тень, она встала у сосны сосчитать для верности. Сорок восемь. Странно. Долой один – и букет готов.

Но, углубившись в чащу, Полина увидела такой бесподобный синий цветок, что, не раздумывая, срезала и приобщила к остальным, откинув одуванчик. А следом ещё несколько таких же синих вытеснили столько же одуванчиков, и она в последний раз пересчитала цветы, чтоб наверняка. Вышло сорок четыре... ошиблась где-то. Откинула крайний одуванчик и, к досаде, насчитала в букете сорок два цветка. Уже не стала никем жертвовать, а села на пенёк и спокойно один за другим разложила их – вышло четыре кучки по десять и два мака.

Лес вокруг пригляделся, прислушался. Стволы уходили вверх, как свечи на торте, кроны горели в полуденном солнце, колыхались под ветром ленивым пламенем. Встав с пня, Полина отряхнулась, собрала цветы и двинулась к Паше. Шагалось легко, мягко: то листья устлали землю, то мох. Считать цветы не хотелось, но невольно она достала из букета недавний синий и оставила на ближайшей кочке.

– Один, два, три... – шептали губы, а пальцы отделяли стебель за стеблем. – Одиннадцать, двенадцать, тринадцать... – взгляд прыгал с венчика на венчик. – Двадцать один, двадцать два... – Как сладко пахли, мёд, чистый мёд.

Сорок. Абсурд какой-то.

Полина опустила букет. Дважды она угодила в паутину и, точно сладкую вату, не могла счистить с лица. Не выдержала, отшвырнула одну из ромашек и опять принялась

считать. Тридцать восемь. На землю упал василёк, и счёт пошёл по новой. Лесная зелень поблёскивала на солнце, будто сахарная. Тридцать шесть. Долой ещё один василёк – они мелкие и быстро вянут. Один, два, три... тридцать четыре. А люди ещё в чудеса не верят. Новый цветок полетел за спину, и пальцы принялись отделять стебли по одному. Тридцать два. Настала очередь тюльпана.

– Один, два, три... четырнадцать, пятнадцать... двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать.

Тридцать штук.

Пол-леса осталось позади, когда Полина оперлась рукой о берёзу, чтоб тут же залиться сухим, похожим скорее на кашель смехом. Ещё раз: один, два, три... Ветер трепал берёзы, листва кружила в воздухе мелкой крошкой. Тридцать. Замечательно! Полина отбросила цветок и взялась считать так медленно, как делала это лишь в первых классах школы.

Двадцать восемь.

– Какая-то ошибка... какая-то злая глупость, – шептала она и опять смеялась.

Как снова пошла, не помнила. За деревьями показался микрорайон. Дом Паши стоял торцом: белый, разлинованный на плиты панелей, он казался собранным из кубиков сахара. А Полина считала по новой и не могла себе запретить. Двадцать шесть. Прощай, гвоздика. Двадцать четыре. Прощай, вторая. Двадцать два. Канул очередной цветок. Двадцать. Маки так и смотрели парой глаз, и какие бы цветы ни теснились под ними, в их бутонах чудилась ухмылка. Когда лес кончился, Полина несла уже восемнадцать и зажимала рот рукой, чтоб не смеяться.

Шестнадцать... Четырнадцать... Ещё один синий упал и незримо увёл с собой пару. Двенадцать. Канул алый с мятыми лепестками и тоже обманул. Десять... Другой синий – восемь... Промокнув лоб рукавом, Полина поднялась по тропинке в район и пересекла детскую площадку. Веселые пацанята повернулись к ней, и их улыбки скисли. Полина и сама чувствовала своё тяжёлое, засохшее чёрствым печеньем лицо.

Сев на угол низкой ограды, она разделила в руках восемь цветов, чтоб видеть каждый, и дала одному упасть на землю. Мизинцы слегка расступились, и когда цветок полетел вниз, он на миг приковал к себе взгляд – этого хватило; опять их стало меньше на пару: два мака, два тюльпана, две ромашки.

Полина зажмурилась, закусил губу и просидела до тех пор, пока в кармане не зазвенел мобильный. Паша не мог понять, где она ходит, ведь просил – давай встречу.

Теперь, шагая к его дому, она держала в каждой руке по три цветка. Стоило уронить одну ромашку, и ненадолго цветов действительно стало пять, пока Полина не сложила их вместе, – тогда маки и тюльпаны поглотили без остатка вторую ромашку. Наконец, огибая клумбу, Полина усадила в неё тюльпан и неотрывно смотрела на оставшийся букет так долго, как могла. Но у подъезда в неё влетел мальчуган на самокате, чуть не сшиб, и вот в руке уже краснели одни маки, точно они и слопали несчастный последний тюльпан. Без сожалений Полина кинула их в урну, из которой дымил чей-то бычок, и долго стояла у двери подъезда, приходя в себя. Прогулка помнилась как в тумане – только разноцветные чётные числа, сладко пахнущие цветами, теснились в уме. Сколько Полина ни тёрла ладони о кофту, те были мокрые и хранили прохладу стеблей.

Паша открыл не сразу – что-то кипело на кухне, а сам он был в заляпанном фартуке и с лепестком петрушки, налипшим у виска. Побрился, на подбородке запеклась кровь. Увидев его, Полина облегчённо вздохнула. Усталая, она переступила порог и подняла руки, чтобы обнять Пашу, – в правой было два мака.

### **Я склонен преувеличивать**

К началу лета расцвёл жасмин, кусты вдоль домов пухли, благоухали, а упрямые дожди распушали их ещё больше. Старуха в жёлтой куртке еле поспевала за болонкой,

собачонка выискивала цветы пониже, нюхала, но каждый следующий казался ещё вкуснее, и она тянула хозяйку дальше и дальше.

Прогулку портила тревога, липкая, неуместная: июньского начисто отмытого дождями воздуха я не замечал, шёл, теряясь в догадках. Но я склонен преувеличивать: забыл что-то дома и не могу вспомнить что. Такие мелочи хочется стереть, как лишние фото, а они копятя, копятя в неудаляемых. Времени хватало, люблю дать себе полчаса форы и идти спокойно. Номер ячейки я даже в блокнот скопировал, хоть тот остался в переписке. Тягостная предстояла поездка, надежды остались лишь на долгую успокоительную прогулку после – до ночи буду бродить, вспоминать последние полгода, такие счастливые и короткие. Начну с того, как Ира наступила мне на ногу; а говорят – они сейчас каблук не носят... до сих пор эту боль помню. Овца.

Уйди тревога, уйди. Что ж я забыл? Память обрисовала прихожую, осколки света от стекляшек люстры, сигареты на углу комода – зажигалку я всегда кладу сверху пачки, так, чтобы края ее не выступали. Одно из радужных пятнышек легло поперёк пачки, я представил, как красиво это могло бы быть, и понял, что не вижу обоев на стене за комодом –элементарный узор, а забылся начисто, пяти минут не прошло, как я был там.

Мимо, заваливаясь набок, проехал троллейбус – только они так умеют. Я гляжу на автобусы, троллейбусы и трамваи с умилением, как на больших толстокожих животных. Это она привила мне любовь к ним: конфет купим, сядем в первый попавшийся, она у окна, я – у прохода, ей левый наушник, мне – правый; едем пока всё не съедим... пока она не скажет, что ей надоело.

Что я мог забыть? Мобильный с собой, ключи тоже, рюкзак за плечами. В прихожей он стоял бочком к комоду, правда, теперь я и комод видел сереньким, без намёка на текстуру – то ли дерево, то ли крашеный, память молчала. Ветер гнал вдоль улицы мелкий сор, будто разбитые войска. Я прикурил, струя дыма угодила в глаз. Пока тёр его, ветер смешал ноты жасмина с табаком – хорошие весенние духи, ей бы понравились, она тоже курила. Сука. Нет... нельзя так о ней, нельзя, это слабость, моя слабость.

Солнце разгулялось, слепило, пекло, к обеду над асфальтом повиснет марево. В детстве мама рассказывала про солнечный удар у подруги: тень дерева, подошвы туфель, просят воды, машут платком, ищут таблетки по сумочкам – ещё ребёнком я это представил и до сих пор помню, но я забыл, какой паркет у меня в прихожей. Или плитка... Аж голова вспотела, раньше не замечал, что она может потеть. Кажется, плитка, чёрная. Нет, серая.

Когда прошёл мимо дверей магазина, они разъехались и пахло выпечкой. Всегда, когда двери открываются, а я не вхожу, хочется извиниться перед ними. Мужик в костюме мобильного негромко приглашал в сотовый салон; другой, в костюме чашки кофе, курил, выдыхая из прорезанного впереди кружочка, и молча раздавал листовки. У них как будто тоже следовало просить прощения, что мне повезло работать в офисе с кофемашиной и перспективами.

Зайдя за угол, я встал в тени отдышаться и оперся рукой о стену, измазанную клеем объявлений. Пока оттирал руку, будто в шутку попробовал вспомнить домашний адрес, но и эти несколько слов и чисел канули. Я выглянул из-за угла посмотреть на свой дом, тот стоял, как положено, белый с торца – но где в очереди поездов мой? Какой по счёту? Код домофона поблек, раскрошился, лишь буква «К» наметилась в середине.

Как же называется та болезнь на «П» по фамилии врача, когда всё забываешь?..

А у неё – какая у неё была фамилия? И ведь не важно, хоть Козьявкиной родись, но с большими глазами, и на тебя будут слюни пускать, бегать за тобой, глупеть: ты будешь выбирать, будешь решать, что надоело, а тебя будут помнить и со сладкой тоской смаковать в памяти, как ты отдала ногу при первой встрече... Козьякина.

Я кинул комок салфетки в урну, поправил рюкзак, спина под ним вымокла. Солнце не щадило; злой белый свет, тебя слишком много, тебя опять накажут дождями. Два

серых ошмётка вылетели из мусорного бака – вороны завтракали, я помешал. Проплыл троллейбус, опять скособоченный. На таком же мы с ней сделали круг по центру – так же пекло солнце, а потом на пару минут пошёл ливень, даже тучи не успели сгуститься, и я целовал её, целовал, откусывал от неё понемногу... Самый счастливый день за последние полгода.

Как же быстро сейчас строят, совсем не узнаю эти новостройки, солнце спряталось за ближней, и я провёл по лицу рукой, с пальцев капало. Пока искал по карманам салфетку, обернулся и не нашёл свой дом – сплошь белые торцы да козырьки подъездов.

Повеяло цветами – навязчивая сладость.

В памяти мелькнула кабина лифта, я почти удержал её: долю секунды помнились подпаленные кнопки на панели и матерщина сажай по потолку, но всё меркло. Как были одеты те двое у супермаркета? Дурацкие костюмы типа хот-дога и стакана колы.

Но код ячейки и в блокноте, и в переписке. Кошелёк, паспорт – всё при мне.

Держась тени, я добрёл до перехода, на той стороне улицы серела лестница и в несколько маршей поднималась к дверям метро. Наверху что-то дымило, точно близилось извержение; ветер мял и рвал серые клубы, пахло гарью, а в магазине под лестницей вопил и колотил по банкомату коренастый мужичок. Как-то у неё заело карту, и она обматерила меня, словно этот кусок пластика застрял во мне и не лез наружу. Идиот, я не понимал за что, я возражал, я ещё не чувствовал своей вины, но всё-таки мне хватило мозгов извиниться, и я плёлся следом и вымаливал прощения... и ты простила меня, тупую скотину.

Пока шёл по переходу, пытался вспомнить цвет рюкзака, не опуская взгляд на лямки, потом поднимался по лестнице и тоже вспоминал, вспоминал... На площадке первого марша пришлось стоять, дожидаться, пока из ног уйдёт дрожь. Народ внизу спешил, у каждого человечка маршрут, траектория, а я опёрся о перила и не мог объяснить себе, куда должен ехать. Я, кажется, не опаздывал, всегда закладываю минут пятнадцать сверху. Капля пота стекла за шиворот, горячая, и вторая следом. С верхней площадки падали клубы дыма, распадались, таяли.

Что-то важное записано в телефоне в двух местах... но я не опаздываю.

Злой белый свет – тебя накажут...

Надо подойти к кому-то, попросить помощи.

Внизу проехал троллейбус – синий, толстокожий; на таком же точно круг по центру... Мы выходили на остановке, она курила, отбирая второй наушник – и сиделись в следующей.

Ноги остыли. Давайте, ноги, шагайте вверх – вон ступеньки.

Надо подойти, попросить помощи. Даже говорить ничего не придётся – меня увидят и вызовут скорую. В паспорте, сбоку, лежит полис, надо его достать... надо подойти к кому-то... посмотреть имя в паспорте...

Чувство, с которым я забыл целиком всё, окатило на самом верху у дверей метро. Это чувство пахло гарью, было влажным, липло ко мне, и в груди от него колотилось. Прежняя тревога, уже лишняя, тотчас унялась – что-то одно, самое важное надо было забыть, и страх остыл, но я не помнил, что именно. Одна из урн горела, грязный дым валил из неё. Я смотрел на него, пытаюсь распробовать неожиданное счастье, безвкусное и немое, но пустота заглатывала всё глубже. Единственное, что стесняло меня, – маленькая, взмокшая от пота книжечка в руке. Разметав дым, я швырнул её в урну, чем сделал себя ещё чуть счастливее, и повалился в обморок.

\*\*\*

Меня зовут Олег Самарыгин, живу на Вавилова, пять, третий этаж, квартира одиннадцать. В прихожей на полу ламинат; комод из ДСП под берёзу, почти белый; обои

без узоров, в пастельных разводах с мелкой крапичкой. Подъезд первый слева, дверь тугая, лифты старенькие, изгаженные, код домофона 11К9203.

Нос чесался от нашатыря, ну и запашок – аж до слёз. Рюкзак мне подложили под голову, в руку сунули мятый, измызганный в каком-то соусе паспорт, обложка с краёв обгорела. Один из докторов списывал в журнал номер полиса. Сперва меня хотели уколоть чем-то, но подождали и раздумали.

– Пишу кратковременную потерю памяти, – огласил врач, но в голосе звучало сомнение, будто я мог оспорить диагноз.

– Такое вообще бывает? – спросил я.

– Сплошь и рядом. Ковидом болели? Обследуйтесь. К неврологу ходите, не оставляйте просто так.

Я кое-как отряхнулся и отряхнул рюкзак, в ушах повис тонкий, протяжный свист, как от телевизора, который потерял сигнал.

– Из поликлиники с вами свяжутся, – предупредил врач. – Сейчас что с самочувствием? Помните, куда едете?

– В камеру хранения.

Он постеснялся расспрашивать, но продолжал глядеть на меня с вопросом. Я так и не убедил этого хмурого немолодого человека с седой щетиной – он смотрел на меня, приспустив очки, и не находил в моём облике чего-то важного, что успокоило бы его.

– Бывало такое? Только честно.

– Впервые.

– Ходите, проверьтесь. МРТ головы сделайте, лучше с контрастом. УЗИ сосудов шеи. Невролог назначит.

Кивать было тяжело, точно мозги качались внутри головы – долго, до тошноты. Медбрат вернул полис, трясущимися руками я наскоро запихнул его в паспорт и помял ещё сильнее, а телевизор всё свистел, и лёгкий снег дрожал перед глазами.

– Насчёт камеры хранения: если что-то важное, лучше отложить, – остерёг главный.

– Не особо, – отозвался я, прибавив лишнее: – Зарядка для телефона, тапки и бритва.

Врач почесал щетину, не стал вдаваться, вновь отвлекла писанина – бланки, бланки. Я поглядел на его ботинки: большущие, в пыли, в пятнах жёлтой краски; куда-то надо было глядеть. И вскоре он распрощался, оставив напоследок:

– Обследуйтесь, обязательно.

Полгода мы жили с Ирой. Вот, всё вернула. Ещё там были наушники. Это о ней я забыл до полного опустошающего счастья. Какой восторг – просто забыть.

В метро я не полез, даже уговаривать себя не стал, сел в троллейбус поближе к окну. Он покачивался, как паром, позвякивал, пах бензином и кожей кресел. Жарко. Куда-нибудь приеду – выйду, возьму такси, до камеры завтра доберусь, а сейчас буду вспоминать... не хочу, но буду – словно у меня есть выбор. Грозди жасмина белели на придорожных кустах, солнце выбелило улицу, подсушило после дождей. К остаткам лужи потянуло собаку, она поволокла за собой хозяина на натянутом поводке, но троллейбус катил дальше, и я потерял их из виду.

## Ленон

Я понял, что опаздываю, в автобусе. И опять перекрыли дорогу именно сейчас! Жлобы думские, катите себе ровно, успеете, но нет – гаишник поперёк дороги, все подождут.

Пар злобы подступил к горлу, обжигал, и я матерился сквозь зубы так, что на меня косились. Взять бы эти мысли, подышать на них, протереть тряпочкой, чтоб висели

чистенькие, а я ненавижу правительство, водителя автобуса, всех людишек в их легковушках вокруг и... себя: проснулся я вовремя, но минутку решил полежать, понежиться, всего минутку – классика. Совещание не задержат – ради меня-то! – значит, ломиться в закрытую дверь, скрипнут петли, навалится тишина, все будут пялиться, в воздухе застынет пыль, и только Львовна постучит карандашом по столу и сухо велит: «Проходите, Сергей». Реально барыня: ей кнут в руку да поместье – такие пойдут планёрки...

Восемь одиннадцать! Шанс, впрочем, был – маленький, но если в половине зайти в метро, можно успеть; на минуту припозднюсь – терпимо. Пассажиры автобуса измождённо переглядывались, все искали надежды, точно один из нас мог одуматься и снять заклинание, сковавшее пару километров трассы. Я ткнул в мобильный – восемь пятнадцать. Беда-беда...

Наконец, вдали по реке крыш пошла рябь – дробясь, крыши стали отлипать одна от другой, и представилось, что кто-то могучий растянул всю дорогу, как резинку от трусов. Я пробовал подступить к окну, но было слишком тесно. Стоявший рядом мужик полез в карман, и я почувствовал его руку словно свою. В тот же миг автобус тронулся, пополз, все кругом облегчённо выдохнули.

Доехали. Проезжая часть ревела, над люками у бордюров белел пар, толпа валила к переходу. Я как раз нагнал соседей по автобусу – паренька вроде меня в кедах и пуховике и девочку, с головой замотанную в шарф. Мы вместе засемили по ступенькам перехода. Мобильный отсчитал восемь двадцать девять.

Я уже знал, что бумажник спёрли, – по дороге выяснил. Впрочем, он был привычно пуст – проездной да пара купюр не самого большого достоинства, разве что самого кошелька было жалко. Скорее всего, тот мужик и вправду полез в мой карман и именно когда автобус тронулся... умельцы. Ехать домой значило заявиться в офис под конец совещания. Вспомнились те редкие, на удивление опрятные ровесники, которые порой просят денег у метро, а ты идёшь мимо и удивляешься: «Вроде на бомжей не похожи». Страшный сон, конечно, но как не хотелось иного кошмара в кабинете Львовны: холоп провинился – нельзя спускать, пошлёт выпороть на конюшню...

Был и другой вариант – «велюровая шляпа», как я окрестил его про себя. В шмотках не разбираюсь, но эта всегда выглядела слишком дорогой и ухоженной, чтоб лежать на асфальте кверху пузом. В ней копилось моё спасение – на один конец в метро точно хватит. Уже слышалась знакомая гитара. Владелец шляпы, как обычно, стоял в метре от неё, перебирал струны и пел – фальшиво, надрывно. А стоило прислушаться к шестиструнке – порой я так спасался от вокала – и становилось ещё тоскливее. Кто-то мог решить, что сегодня уличный артист не в форме, что накануне он пил, не закусывая, что его прихватила простуда и бедняга мякнет в волнах озноба. Увы, я наблюдаю этот концерт каждое утро и всякий раз, проходя мимо, в лицах прохожих и в своей душе читал одно и то же: «Мы заплатим тебе – только умолкни».

Мужу было около полтинника – всегда выбрит, одет под стать шляпе: хорошее пальто, дорогие туфли – повторяю, я в одежке не разбираюсь, но уж больно гладко на них лежали блики, а пальто темнело без лишней складочки. Ещё были круглые очки, как у Джона Леннона. Я и звал певца – Ленон, только с одним «н» в середине. Уложив свою акустику на колено, он ставил ногу на усилки «Маршал» – тоже не из дешёвых. Словом, несмотря на ужасное исполнение, этот самородок умудрялся зарабатывать и был вполне упакован. Как говорится – талант найдёт дорогу.

«Не обеднеет», – решил я, остро чувствуя, что не имею права на этот вывод. В груди ёкнуло, и так нехорошо, так туго забилося сердце – тяготила его моя идея.

Половина перехода осталась позади. Гитарные аккорды вперемешку с куплетами кружили по тоннелю, будто не умея выйти наружу. Вот и Ленон – шляпа, туфля на углу



«Маршала», два звонких круглых блика, скрывших глаза. А кругом лица, нагретые испанским стыдом.

Всё-таки это гнусно. Какой ни есть – стоит, зарабатывает, а я черпну из его миски.

За секунду до того, как пробежать мимо и схватить из шляпы сотенную купюру – есть же меценаты – я оглушил совесть тупым, ватным «Молчать!» Стыд обдал меня после, когда я нёсся к метро, когда стоял в кассу, ожидая, что Ленон не поленится и догонит. Все это было после, а подхватив вялую бумажку, я был решителен настолько, что понял, как поступить – на ходу обернулся и кинул опешившему, умолкнувшему наконец Ленону:

– Я всё верну! Сегодня же!

Первый раз гитара молчала под сводом перехода.

Втиснувшись в вагон, я перевёл дух и заключил, что во всём виновата скотская работа. Раб, натурально раб – вечно обязан нестись сломя голову. Удивительно, как быстро подмяла жизнь. А представить год свободы от офисного рабства – сколько можно сделать за целый-то год! Ведь я талантлив, пусть в издательстве тянут с ответом – это ничего не значит.

Кажется, те же двери того же вагона распахнулись передо мной вечером, когда я приехал на свою станцию. Достав занятые на работе пятьсот рублей, я брёл к турникетам, и толпа обгоняла меня. Не хотелось... ох, не хотелось смотреть в глаза Ленону, хоть я и обеспечил ему четыреста процентов прибыли.

«Моральные издержки точно окупит», – оправдывался я и всё равно еле плёлся.

Народ потёк к автобусным остановкам, а я спустился в переход. Потолочный свет дрожал, сквозняк гнал вдоль стены пакет из «Пятёрочки», поторапливая невидимыми пинками. За редкими прохожими блеснули кругляши очков, точно в глазах Ленона было по серебряной монете. Он и вечерами стоял там же – целый день этой скверной песни, с утра до ночи врать ноту за нотой. Однако музыки слышно не было, и не было обычной стойки с ногой на усилке – Ленон сидел на своём «Маршале», гитара примостилась сбоку. Я подошёл к нему в надежде поскорее отделаться, протянул влажную мятую купюру и прибавил:

– Добрый вечер.

Ленон изобразил удивление – тоже довольно фальшиво – и озвучил мои недавние мысли:

– Четыреста процентов прибыли.

За спиной, хрустя, пролетел пакет.

– Я сто рублей у вас утром взял, из шляпы, – добавил я по инерции. Шляпа сидела на голове Ленона чистенькая, ни соринки.

– Помню. Я эту сотку сам кладу – на удачу. Весь день о тебе думал, – вполне ласково поведал Ленон и слазил в карман пальто за конвертом. – Бери, не комплексуй. От чистого сердца и всё такое. А эту я на память возьму, – и он принял долг.

– Что там? – я невольно взял конверт, сходу открыл и обнаружил внутри пачку валюты толщиной пальца два – доллары, сотни.

– На год хватит. Ты ж офисный? Бежал к девяти успеть, – пояснил Ленон и указал на мой портфель – кожзам изрядно шелушился. – Портфель и офисная выправка с перспективой на остеохондроз, сразу видно – боец корпоративного фронта. Слушай, плюнь на работу. Дарю тебе один год, там хватит. Сделай что-то толковое. Ты вроде порядочный – это уже немало. Я тридцать лет назад песни сочинял, но жизнь подмяла, не до песен, словом, – и Ленон пустил взгляд вдоль безлюдного тоннеля, а затем глянул мне в лицо так, что я заморгал. – А у меня талант. Как есть говорю. Сейчас-то я трейдер, спекулянт, четыреста процентов сверху – мой минимум. Но это разве жизнь?.. В венах-то не цифры. Вот, снова играть начал. Народ спадёт – ухожу, биржа как раз горячая, и до семи – купи-продай. Потом опять сюда. Какая-то отдушина.

С полминуты он просидел молча, затем размял плечи и, не снимая шляпы, пролез в ляжку гитары. Чистый, гладкий блик лёг по туфле, когда та встала на угол «Маршала».

– Ничего, мы растопим этот лёд, – заверил Ленон. – Никто не обещал, что будет легко. Топай и спаси себя. Всё-таки целый год.

Я буркнул «спасибо» и с конвертом в руке зашагал к лестнице. Когда в спину полетели первые аккорды, я прибавил шагу и зарёкся спускаться сюда – через площадь был другой вход в метро, на десять минут дольше, но лучше так.